

УДК 321.6

Михаил Алексеевич Малышев
профессор-исследователь гуманитарного факультета
Автономного университета штата Мехико,
координатор научного журнала *Ciencia ergo sum*,
г. Толука, Мексика
mijailmalychev@yahoo.com.mx

СВИДЕТЕЛЬ КАК ОБЛИЧИТЕЛЬ ВАРВАРСТВА

Концлагерь – это кульминация brutального господства тоталитарного государства над человеком. Цель статьи – показать расчеловечение человека на основе свидетельств жертв «Холокоста», подкрепленных показаниями очевидцев «Гулага». Автор опирается в первую очередь на свидетелей, старающихся избегать воодушевляющих иллюзий, которые, подобно атмосферному слою, защищают нас от безжалостных лучей света правды и приводят к идеализации человека. Опираясь на книгу Залмена Градовского автор пытается преодолеть поверхностные суждения о членах Зондеркоманд, которые рассказали нам суровую правду о мужественном поведении невинных жертв, обреченных палачами на смерть в газовых камерах.

Свидетель, геноцид, расчеловечение человека, Освенцим, «серая зона», Зондеркоманда.

Знаете ли вы, что является самым главным для того, кто прошел через лагерь? Знаете ли вы, что *самое главное* есть то единственное, чего нельзя выразить – запах паленного человеческого мяса.

Хорхе Семпрун.

Непрерывный поток новых свидетельств, публикаций, фильмов, дебатов, посвященных урокам Холокоста и Колымы, стал набирать скорость с конца семидесятых годов прошлого века на Западе, и с середины восьмидесятых годов в России, достигнув максимального пика в десятые года XXI столетия. Свидетельства гнусного варварства, беспощадный и справедливый суд над его идейными вдохновителями и исполнителями превратились в своеобразную гражданскую религию Запада, которая высоко вознеслась над контекстом своей эпохи и приобрела, по словам папы Иоанна-Павла II, значение «новой Голгофы». Однако подобная сакрализация жертв, погибших в камерах смерти, по мнению известного французского философа Паскаля Брукнера, чревата новыми ужасами, ибо «существует риск, что евреев вновь начнут приносить в жертву на алтарь

этого культа, временными идолами которого они сейчас являются. Явное тому подтверждение – ассимиляция Холокоста со стороны исламских экстремистов. Если некоторые люди осмеливаются критиковать Моисея, Христа, Вишну, Могомета или Будду, то почему бы не подвергнуть осмеянию Дахау, Берген-Белзен или Треблинку? Зловещая амальгама! До сих пор никому еще не приходило в голову смеяться над Варфоломеевской ночью, над преследованием протестантов во Франции по приказу Людовика XIV, над мертвыми палестинцами, погибшими во время Интифады, над геноцидом армян и жителей Руанды» [8, р. 97-98].

К сожалению, иногда само время становится «сообщником» подлецов: растворяет варварство в далекой дымке лет и пытается поставить его по ту сторону добра и зла. Но историческая память о мученичестве невинных жертв налагает на нас, их потомков, борьбу во имя идеи высшей справедливости с ложно понятыми поспешными снисхождением, а тем более к проявлению милосердия к палачам. Можно согласиться с французским философом в том, что следует избегать как банализации, так и «виктимизации» геноцида, но не с его утверждением, будто абсолютно непозволительно сравнивать зловещие события нацистского *Лагерь* и сталинского *Гулага* с предыдущими и последующими массовыми истреблениями, которыми изобилует история человеческой цивилизации. Большую часть своей статьи, озаглавленной «Вторая Голгофа», Брукнер посвящает недопустимости сравнения жестокости колонизации народов европейскими странами с газовыми камерами Освенцима, ибо каждое событие, с его точки зрения, должно быть рассмотрено только в контексте своей эпохи, и всякое сравнение, выходящее за пределы этого контекста, чревато искажением его значения.

Согласно такой логике, нельзя говорить о «Холокосте» (в нарицательном смысле этого термина), учиненном Пол Потом в Кампучии, употреблять этот термин по отношению к геноциду армянского народа или сравнивать брутальность французских солдат в эпоху колониальных войн в Алжире с газовыми камерами Дахау и Освенцима. Можно, конечно, согласиться с тем, что произвольная экстраполяция «газовых камер» на события, отстоящие от нас на «расстоянии» трех, пяти или десяти поколений, может привести к искажению их конкретного исторического смысла. Но нельзя отрицать самого факта сходства любых актов проявления геноцида, цель которых – насильственное уничтожение мирного населения, хотя способы идеологических обоснований, методы пропаганды, мотивы и даже коллективные эмоции, подстрекающие палачей к массовым умерщвлениям, могут, безусловно, быть несходными.

Для подтверждения несостоятельности сравнения Холокоста с колониальными завоеваниями Паскаль Брукнер пытается опереться на высказывание Председателя КНР во время официального приема

Маргарет Тэтчер в 1985 г. в качестве премьер-министра Англии, а также на речь премьер-министра Индии Манмохана Сингха, которую он произнес по случаю присуждения ему звания почетного доктора Оксфордского университета. Председатель КНР сказал, что британская оккупация разбудила Китай от его векового сна. А индийский премьер отметил, что, британское владычество, хотя и нанесло определенный ущерб развитию его страны, в то же время оно имело и «благодетельные последствия», которые должны быть признанными. Отсюда автор извлекает вывод: прошлое не забыто, оно просто спокойно поставлено на свое место и ассимилировано [8, р. 112]. Иначе говоря, история учит, что она ничему нас не учит, да и сами мы не проявляем особого рвения к усвоению ее «уроков»: надо просто «проглотить», «ассимилировать» случившееся и спокойно продолжать свое существование, уповая на то, что варварство и трагедия в прошлом, возможно, обернутся благодеяниями в будущем. А экстраполировать будущее на прошлое, согласно такому подходу, непозволительно, ибо это чревато гиперболизацией масштабов злодеяний и сводит на нет «благодетельное значение насилия», которое, по замечанию Карла Маркса, выполняет функцию «повивальной бабки истории». Правда, Маркс, в отличие от Брукнера, насилие понимал в основном как ответ на насилие, осуществляемое не столько путем прямого умерщвления, сколько в форме безжалостной эксплуатации или жестокого рабства. Как правильно заметил Примо Леви: автомобильная фабрика Фиат несмотря на потогонный метод эксплуатации – это не массовое сожжение невинных узников в Освенциме, а методы принуждения, применяемые в психиатрических клиниках по отношению к буйным пациентам, не следует отождествлять с зуботычинами и пинками «капо» при наведении палочной дисциплины. Однако и сам Леви стремился извлечь из опыта своего существования на грани выживания в Освенциме уроки для всего человечества, а не просто ограничивать этот опыт рамками нацизма. Аналогичную идею развивает и Цветан Тодоров, который подчеркивает, что он хотел бы использовать свидетельства выживших узников лагерей в качестве инструмента, для анализа настоящего, а не для того, чтобы превращать их в памятник абсолютно единичного опыта. Такой подход противостоит точке зрения, которая предоставляет привилегию исторической специфике каждого частного события [16, р. 299].

Цель настоящей статьи – изучение массового насилия на основе свидетельств, вынесенных на суд широкой мировой общественности в первую очередь жертвами Холокоста и подкрепленных в отдельных случаях свидетельствами очевидцев Гулага. Правильнее в данной статье опираться в основном на такие показания, которые выносятся за скобки утешительные иллюзии, будто эта трагедия никогда не может повториться. Можно вполне предположить, что эта

катастрофа повторится уже в силу самой предрасположенности к насилию, имманентно присущего человеку как биологически незавершенному виду, но повториться, разумеется, в иных исторических обличьях. Поэтому интересны в первую очередь такие свидетели, как Примо Леви, Варлам Шаламов, Жан Амэри и Залмен Градовский, которые в своих свидетельствах старались избегать воодушевляющих иллюзий, образующих тот невидимый «озоновый слой», который, по меткому выражению Александра Мелихова, «защищает нас от безжалостного света правды, от ужаса нашей беспомощности и эфемерности» [1, с. 4]. Многочисленные попытки построить разумную цивилизацию на основе принципов гуманизма и уважения к достоинству человека были обречены на провал, в частности и потому, что мы в недостаточной степени склонны опираться на жесткие уроки, преподносимые историей бесчеловечных действий наших предков, как будто взявших за правило время от времени испытывать на прочность предел человечности, заложенной культурой и природой в сферу чувства и разума «хомо сапиенса».

Свидетельство как сопротивление бесчеловечности геноцида. Как можно говорить о свидетельстве переживания ужаса, которое превышает возможность адекватного выражения его содержания? Как выразить то, что сопротивляется слову? Как можно вообразить мир, в котором человек превращен в недочеловека, чье тело сделалось рабом пустого желудка, непрерывно и повелительно требующего пищи, а холод, постоянные побои и непреоборимая усталость превратили его жизнь в дьявольское кошмарное наваждение, в котором время трансформировалось в сплошное монотонное настоящее, заполненное безысходным страданием, и где «доплывающие доходяги» (или на жаргоне Освенцима – «мусульмане»), искалеченные нечеловеческим обращением, заживо гнили в ожидании «спасительной смерти»? Многие миллионы людей жили и умерли в этих адских условиях, тысячи выжили, но память, парализованная ужасом пережитого, оказалась настолько травмированной, что приговорила их к вечному молчанию¹, и только десятки бывших узников лагерей смерти оказались способными воскресить кошмары пережитого и оставили нам подробные документальные свидетельства преступлений тоталитарных режимов против человечества. Но даже они нередко жаловались на несовершенство инструмента, именуемого памятью, хотя бы потому, что воспоминание – это слабый отблеск впечатлений о событии прошлого в настоящем. Память, конечно, может подтвердить его существование, но воспоминание – это отнюдь не зеркальное отражение. И тем не менее именно па-

¹ И эта немота вполне объяснима. Как пишет Варлам Шаламов, «человек лучше запоминает хорошее, доброе и легче забывает злое. Воспоминания зла – гнетут, и искусство жить, если таковое имеется, – по существу есть искусство забывать» [4, с. 36].

мать, какой бы ненадежной она нам не казалась, является основанием для дачи свидетельских показаний и нравственного суда над организаторами зловещих событий минувших лет.

Свидетель лагеря смерти видит мир глазами жертвы. Его видение – это не взгляд объективного наблюдателя, а взор, пропущенный через выстраданные изнутри муки, что, по меткому замечанию Теодора Адорно, напоминает агонизирующий взгляд повешенного на кресте вниз головой мученика в период гонения христианства в древнем Риме. По мнению Адорно, Освенцим нес в себе не только смерть миллионов невинных жертв, но и угрозу уничтожения биологического и культурного разнообразия человеческого рода, ибо геноцид – это политика, одержимая поисками чистой идентичности, которая стремится к стерильной гомогенности бытия человека, открыто объявив нетерпимой аномалией его право на индивидуальность. Свидетельство – одна из побудительных причин стремления выжить во что бы то ни стало в аду нечеловеческого бытия, более того свидетельство – это и желание не погубить в себе очевидца, даже тогда, когда свидетель не мог не отдавать себе ясного отчета в неизбежности собственной смерти. Хотя, с другой стороны, по признанию самих узников, мотив сохранения жизни любой ценой мог служить и средством самооправдания выживших за счет сокращения продолжительности существования других – слабых, больных, старых и неприспособленных. Заключение, которым удалось выжить в лагерях смерти отнюдь не были предназначены к вечному спасению за свое терпение или альтруизм. Напротив, даже самые лучшие из них, кому чудом удалось выйти живыми, не могли избежать угрызения совести, вспоминая круги лагерного ада. Примо Леви пишет о том, что, когда ты устраиваешь проверку своей памяти, обзираешь шеренги собственных воспоминаний, ты не находишь открытых нарушений совести, ты не выжил за счет кражи жизни других, ты никого не ударил (но располагал ли ты для этого достаточной силой?); ты не занимал никакой должности (но разве ее тебе предлагали?); ты не отнимал ни у кого куска хлеба; и тем не менее, ты не можешь не подозревать себя в этом. Речь идет только о предположении, о тени подозрения, о том, что все мы Каины по братству, что все мы (в этот раз употреблено слово «мы» в очень широком, даже универсальном смысле) сократили существование нашего ближнего и живем за счет его бытия. Это только предположение, но оно грызет, как червь-паразит, оно гнездится глубоко внутри: извне этот червь не заметен, но изнутри он точит и буравит [11, р. 539-540].

Свидетель – это прежде всего повествователь, а повествование в свою очередь питается опытом переживания, которое транслируется от свидетеля к читателю: без него свидетельство рискует утратить свой смысл. С точки зрения Вальтера Беньямина, разница между свидетелем и повествователем состоит в том, что если первый

ставит себе на службу опыт смерти, то второй выражает этот опыт в третьем лице. Как свидетель, так и повествователь, как правило, не стремятся исчерпать свои показания, прибегая к абстрактным объяснениям. Чаще всего они задают вопросы, а поскольку последние неохватны, то ими невозможно исчерпать смысл опыта прежде всего опыта личного переживания, что неизбежно порождает «таинство молчания», результат разрыва между описанием и пониманием, отсылая это *молчание* как наследие истолкованию и осмыслению будущих поколений¹.

Свидетельство утрачивает свою историческую миссию, если у свидетеля нет наследников, чтобы сделать их причастными своему опыту. И это искомое причастие есть прежде всего выражение тоски по элементарной солидарности, упрек в собственном эгоизме, навязанном немилосердным императивом выживания, угрызение совести за отказ от сострадания. Примо Леви со свойственной ему чуткостью замечает, что присутствие более слабого или беззащитного, более старого или юного товарища, надоедающего тебе просьбами о помощи, его простое сосуществование рядом, поразумевая невысказанную мольбу, – постоянная черта жизни *Лагеря*. Солидарность, сочувствие, совет и даже простое человеческое соучастие было всеобщей и постоянной потребностью, но удовлетворялась она крайне редко. На это не хватало ни времени, ни условий, ни терпения, ни сил; да и тот, к кому обращались с просьбой о помощи, как правило, сам в ней нуждался [11, р. 536]. Другая узница Освенцима Элла Лингенс Райнер также говорит о чудовищном искажении элементарных норм нравственности, причина которого – стремление к выживанию любой ценой: заключенные лагеря признавали только одну норму: все, что содействовало их выживанию, считалось хорошим, все, что ему угрожало, считалось плохим и его следовало избегать [16, р. 41]. Этот «императив выживания», даже после освобождения, порождал стыд и еще острее заставлял свидетеля взывать к справедливости. Стало быть, свидетельство – это выражение памяти о причиненной несправедливости, памяти, прошедшей через горнило безмерных страданий и хранящей переживание запаха паленого человеческого мяса, сжигаемых в крематориях; свидетельство выражает стремление приобщить читателя утвердиться в ис-

¹ Констатируя разрыв между описанием и пониманием, итальянский писатель еще глубже заостряет этот парадокс. Наверное, нельзя понять все, что произошло или даже не следует его понимать, потому что понять – значит почти оправдать. Понять намерение или поведение человека, значит встать на его место, отождествить себя с ним. Но никакой нормальный человек никогда не сможет отождествить себя с Гитлером, Гиммлером, Геббельсом, Эйхманом и им подобными, коим нет числа. Если *понять* невозможно, то *познать* необходимо, потому что случившееся может повториться, сознание вновь можно соблазнить или затемнить, даже наше сознание [11, р. 208].

тинности этих переживаний, и одновременно сам свидетель сознает невозможность это сделать, ибо хотя читателю присуще понимание, ему неведомо «эмотивное понимание», основанного на опыте пережитых собственными чувствами страданий, ужасов и надежд, которые пережил свидетель.

Без воспоминания свидетеля исторические руины Освенцима и Колымы, пепел и кости загубленных узников превратились бы в природные окаменелости. Именно память бросает вызов забвению, претворяясь в слове свидетеля. Знаменитый фильм Клода Ланцмана «Шоа» начинается с эпизода, в котором выживший узник, Симон Сребкник, тихо идет по тропе в глубь леса, как и всякого другого леса средней полосы Европы, и вдруг неожиданно останавливается и в тихой задумчивости шепчет: «Трудно узнать, но это было здесь». В этих словах «это было здесь» коренится сила памяти свидетеля. Она указывает на точное место, которое для зрителя ничего не означает, но для свидетеля «это было здесь» указывает на скрытую историю – место расположения Лагеря. «Здесь», покрытое зеленью и укутанное мирной тишиной леса, хотя и не похожее на то, что происходило в этом месте сорок лет тому назад, – это пространство массовых истреблений. Взор свидетеля видит и снимает покровы с того, о чем глаз нашего современника даже и не подозревает. Только воспоминание живых могут воскресить зловещие события и поруганную справедливость, которая взывает к другим более глубоким размышлениям о природе человека. Густав Херлинг, заключенный сталинского Гулага, пишет о том, что он убежден: человек может вести себя как человек только в человеческих условиях, и считает абсурдом сурово осуждать его за те действия, которые он совершил в нечеловеческих ситуациях, подобно тому как нелепо судить о воде с точки зрения огня или о земле с точки зрения ада. Трудность для писателя, стремящегося объективно описать советский лагерь принудительного труда, состоит в том, что он вынужден спуститься в ад, где невозможно отыскать человеческий разум, который смог бы объяснить нечеловеческие поступки. И там внизу он находит лица мертвых и некоторых еще уцелевших своих товарищей, которые смотрят на него и шепчут посиневшими от голода и холода губами просьбу рассказать о них всю правду, поведать о том, что их принуждали здесь делать [10, р. 194-195].

Правда о событиях Холокоста и Гулага предполагает ответственность свидетелей, а это понятие, в свою очередь, отсылает нас к праву, а поэтому этика, политика и теология вынуждены совершать невольные экскурсы в юридическую сферу, чтобы не только «отвоевать правомерность» на употребление данного термина, но и указать на какие-то другие типы ответственности или на отсутствие таковой, что означает выход за пределы юрисдикции права, но отнюдь не отказ от безнаказанности. Джорджио Агамбен указывает,

что это скорее всего означает, по крайней мере для этики, встречу с ответственностью, которая, будучи бесконечно более всеобъемлющей, превосходит все то, что мы можем взять на себя. Мы можем оставаться верными этой ответственности, но признавая ее, мы одновременно не можем не сознавать того, что мы не в силах вынести ее непомерную тяжесть [5, р. 20].

Открытие, которое независимо друг от друга сделали в нацистских и сталинских концлагерях Primo Levi, Варлам Шаламов, Залмен Градовский, Виктор Франкл, относится к сфере, располагающейся на границе между жизнью и смертью и с трудом поддающейся вменению ее жертвам, какой бы тяжелой не была их ответственность. Речь идет о так называемой «серой зоне», где палач разворачивает свою жертву и превращает ее в палача, где добро и зло образуют неразторжимую «химическую смесь», элементы которой невозможно выделить в их беспримесной чистоте. Эта зона располагается не по *ту сторону* добра и зла, а если так можно выразиться, по *сю сторону* и того, и другого. В противовес Ницше, Levi переносит этику с того места, где она привычно располагалась и в координатах которой мы привыкли размышлять о ней, прямо сюда. И не зная почему, но мы чувствуем, что эта посюсторонность намного важнее любой потусторонности, и что недочеловек должен интересоваться нас гораздо больше сверхчеловека. Эта зловещая зона безответственности является нашим первым кругом, из которого никакая исповедь ответственности не способна нас вырвать [5, р. 20].

Анализ работы «Канувшие и спасенные», опубликованной Primo Levi незадолго до своей странно-загадочной смерти (несчастный случай или самоубийство), подтверждает выводы Джорджио Аганбена, а также некоторые высказывания Варлама Шаламова, сделанные им задолго до публикации последней автобиографической книги итальянского писателя. Primo Levi начинает размышления над опытом свидетеля, уцелевшего в лагере смерти, с «приключения памяти». Если все палачи и сильные мира сего всегда поднимали руку на правду, чтобы оправдать свои непомерные амбиции или нечистую совесть, то тот, кто пережил ужасы несправедливости и оскорбления, хотя и не нуждается во лжи, нередко совершенно бессознательно фильтрует свои воспоминания: что-то безвозвратно исчезает, что-то теряет четкие очертания в тумане времени, а другим событиям «проклятого прошлого», как это не парадоксально, мешает проявиться на экране сознания чувство стыда. В этом, кстати, признаются и сами уцелевшие чудом свидетели, прошедшие через все круги лагерного ада. Погрузившись в собственную память, каждый человек обязательно найдет в ней не только то, что он желал бы вновь пережить, но и то, что он навсегда хотел бы из нее вычеркнуть. Кто ворует, может сознаться не только в том, что он украл, но и в том, что он вор. Это случается, хотя и редко. Чаще

всего начинающий красть готов допустить, что он украл, но редко признается в том, что он вор. Это означает, что оценка субъектом своих действий и оценка им своей личности далеко не всегда совпадают, а стало быть, вина и стыд – разные чувства. Именно поэтому стыд, по признанию Примо Леви, может стать как средством самозащиты собственного «я», так и серьезным препятствием на пути признания вины и даже способен отравить былую дружбу¹.

Разумеется, переживание стыда начисто отсутствует в сознании палача: в лучшем случае под давлением неопровержимых улик, и как правило задним числом, допускающим свою вину (чаще всего перед Богом, как это сделал публично Адольф Эйхманн на суде в Иерусалиме) и «оправдываясь» тем, что он выполнял приказы, прибегая как всегда к банальной софистике: если бы «этого» не сделал я, то меня бы сурово покарали, а приказ в любом случае был бы выполнен. Но стыд испытывали как случайно уцелевшие жертвы, поскольку они были бессильны помочь своим несчастным товарищам по страданию, так и те, кто обладал привилегией на лишний паек в силу своей специальности: портные, повара, автомеханики, музыканты или химики, как и сам Примо Леви, который незадолго до освобождения был зачислен сотрудником лаборатории химического концерна ИГ – Фарбен Индустри, расположенного в зоне Буна Моновиц, примыкавшей к Освенциму, оттуда концерн черпал даровую рабочую силу.

В повести «Передышка» Леви рассказывает о своей одиссее возвращения в родной Турин после освобождения Лагеря советскими войсками. Он делится и первым впечатлением от встречи с четырьмя русскими солдатами (которые въехали на конях в Освенцим и молча рассматривали горы наваленных скелетов и некоторых узников, мало отличавшихся от мертвецов), описывая поразившие его факты. Эти люди узников не приветствовали и не улыбались им. Они выглядели подавленными не только из сострадания, но и от смущенной робости, которая запечатала их губы и пригвоздила их взгляды к этому скорбному зрелищу. Это был тот же самый стыд, который охватывал ранее узников после селекции, стыд неведомый немцам, но переживаемый выжившими за вину, причиненную другими, которая тяготела и над ними в силу самого факта их бытия в мире; вину за то, что, будучи навсегда заброшенными в сферу существующего порядка вещей, их слабая и беспомощная воля была не способна противостоять этому порядку [11, р. 531].

¹ Вопреки распространенному мнению о том, что дружба зарождается на почве вместе выстраданного, Шаламов констатирует, что в экстремальных условиях нечеловеческих страданий настоящая дружба практически невозможна. «Если беда и нужда сплотили, родили дружбу людей, – значит эта нужда не крайняя и беда небольшая. Горе недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями. В настоящей нужде познается только своя собственная душевная и телесная крепость...» [3, с. 40].

Однако основную массу спасенных составляли всякого рода «авторитеты», «капо», подручные палачей, исполнители приказов СС, которые не брезговали никакими средствами, чтобы выслужиться, высасывая последние жизненные соки из без того слабых узников, которых они калечили или убивали. Почти у всех этих «капо» и «авторитетов» стыд был начисто атрофирован. Рядовым же узникам сдаться на милость смерти было проще-простого: достаточно было выполнять полученные сверху приказы, поддерживать дисциплину труда и распорядок лагерной жизни [11, с. 529]. Через три-четыре месяца «добросовестные узники» теряли треть своего веса, превращались в «мусульман» и заканчивали свое растительное существование в печах крематориев, куда эсэсовцы иногда, «потехи ради», заталкивали их еще живыми. Все заключенные знали об этом, и инстинкт выживания бесцеремонно толкал некоторых в «серую зону», где человек утрачивал последние остатки морального облика и постепенно трансформировался в наглого хищника или циничного холуя.

Даже сами заключенные, не говоря уже о надсмотрщиках, сторонились «мусульман», один взгляд на которых, по свидетельству юного Кертеша, отбивал желание жить. Обреченный на одиночество, «мусульманин» утрачивал полное представление о добре и зле, справедливости и несправедливости, а тем более о собственном достоинстве. Его до предела ослабленный организм был лишен какой-либо защиты от заразных заболеваний, и сам он, сместившись по ту сторону жизни, равнодушно ожидал смерти. Ощущая неизбежность скорого финала, он являл собой предел морального и физического расчеловечения человека. Прямо Леви считал «мусульманина» наиболее аутентичным свидетелем, и в этом состоял парадокс, так как «мусульманин» идеально отвечал желанию нацистов превратить лагерь в «фабрику трупов» (Арендт), чтобы не иметь свидетелей, ибо обреченный на смерть не мог передать печальный опыт собственных мытарств и страданий другим, и будучи неизлечимо больным обрекался на вечное молчание.

На этом основании Агамбен ставит под сомнение свидетельства очевидцев, которые, по его словам, «не гарантируют фактуальной истинности высказывания», поскольку последнее ненадежно. При этом автор не ограничивается только очевидной констатацией того, что каждое свидетельство – всегда субъективно, частично и недостаточно для выяснения всех обстоятельств, породивших чудовище лагеря смерти. Он ставит вопрос более радикально, а именно: никакому свидетельству нельзя доверять. В лагере, констатирует он, одна из причин, которая могла дать импульс узнику выжить, – превратиться в свидетеля [5, р. 13]. Но это утверждение включает в себе два диаметрально противоположных смысла.

Первый может означать, что узник готов вынести все, чтобы дать свидетельство о собственных немислимых страданиях или о

неслыханной жестокости палачей. Существует немало случаев, признает Агамбен, когда цель – дать публичное свидетельство – придавала заключенному новые, поистине неведомые ранее силы, направленные на то, чтобы перетерпеть весь кошмар повседневной жестокости. Если бы узник не был «фанатиком» достижения этой цели, то возможно, он бы не смог пережить все смертельные испытания, выпавшие ему в удел. Но это же желание – выжить любой ценой, превратившееся в самоцель, могло вести и к искажению свидетельства ради оправдания совершенных им низких поступков. Агамбен считает, что всякое свидетельство как стимул, направленный на стремление к выживанию, может также и оправдать то, что не может быть оправданным, то есть старается убедить своих читателей в том, что средства, которые узник употребил во имя собственного спасения, всегда искажают свидетельства, ибо свидетель думает больше о том, как оправдать свое сомнительное спасение, нежели о достоверности объективных фактов зловещих событий прошлого. Для подкрепления своих подозрений Агамбен пытается опереться на Примо Леви, которого он считает самым авторитетным свидетелем злодеяний Освенцима. Агамбен понимает, что свидетель обычно выступает в пользу истины и справедливости. Но в этом случае ценность свидетельства коренится именно в том, что в нем отсутствует, – скрытое, «несвидетельствуемое», которое может подрывать авторитет выжившего. И далее он обращается к Примо Леви, который утверждает, что подлинны очевидцы, «полноправные свидетели» – это те, кто «коснулся самого дна», «мусульмане», «потонувшие». Те, кому удалось спастись, говорят вместо них, по их поручению, иными словами, свидетельствуют об отсутствии свидетелей. Но в говорении по поручению нет никакого смысла; потонувшим нечего сказать, у них нет ни инструкций, ни памяти для передачи своих свидетельств будущему поколению. У них нет «истории», у них нет «лица», а тем более «мысли». Отсюда Агамбен извлекает следующий вывод: кто берет на себя бремя свидетельствовать от их имени, тот знает, что он должен свидетельствовать о невозможности свидетельства. И это окончательно изменяет ценность свидетельства и заставляет искать его смысл в непредвидимом [5, р. 34].

Второй аргумент в пользу тезиса о сомнительности свидетельств выживших и переживших все ужасы лагерей смерти Агамбен черпает из книги Жана-Франсуа Лиотара «Le differend», в которой французский философ развивает в сущности аналогичный аргумент: большинство свидетелей погибло, тогда как выжившие предпочитают молчание, а когда начинают давать показания, то их свидетельства передают лишь малую толику случившегося. Как же тогда быть уверенным в том, что событие действительно произошло, а может быть оно – всего лишь плод фантазии его автора? Видеть газовую камеру собственными глазами – это единственное условие,

дающее право говорить о ее существовании, которое способно убедить недоверчивых. Но надо еще доказать, что она несла смерть каждому, кто ее видел. Единственное приемлемое доказательство – это мертвые. Но мертвые не могут свидетельствовать о том, что причиной их смерти стала именно газовая камера [12, р. 19].

С точки зрения Агамбена и Лиотара, искажение свидетельств инстинктом выживания, приводит к моральной низости и озлобленности заключенных, а это вынуждает отдавать предпочтение показаниям только тех узников, которые не боролись за свое существование. Но не боролись за право выжить только СС, да и они были обязаны «выполнять свой долг», состоявший в унижении, эксплуатации и уничтожении узников, чтобы выполнить «высшую миссию», возложенную на них «Окончательным решением», и соответствовать критериям твердости и безжалостности, установленных высшим руководством Рейха, ради выполнения этой «миссии». Агамбен искажает мысль Леви, когда выводит из невозможности для опустившихся на дно и потонувших (несомненно, составлявших подавляющее большинство узников), неспособных рассказать правду о пережитом, недоверие к выжившим свидетелям Холокоста. Разумеется, не все свидетельства в равной степени надежны с точки зрения критериев истины, что дает современному исследователю право на критику текстов, оставленных очевидцами. Однако нельзя дисквалифицировать эти свидетельства, приписывая всем свидетелям намерение «оправдаться» только потому, что они боролись за свое выживание и в этой борьбе за существование, шансы на спасение имели только наиболее изворотливые, циничные и морально растленные люди. Такие, как показывает сама же историография Холокоста, как правило, воспоминаний не писали, а писали свидетельства узники с обостренным чувством совести, хотя и признававшие, что и они причастны к вине, ибо пусть и косвенным образом, но они тоже выжили за счет гибели своих товарищей по несчастью.

В «Канувших и спасенных» Примо Леви ссылается на мифологический образ Горгоны (полу-женщины, полу-птицы), которая превращала в камень каждого, кто пытался взглянуть на нее. Итальянский писатель сравнивает доходяг-мусульман с теми, кто обернулся, чтобы бросить взгляд на эту мифическую птицу, а потом лишился рассудка, дара речи и делался ко всему безразличным, как бы превращался перед смертью в камень. Агамбен утрирует эту метафору Леви с целью обесценить значение всякого свидетельства выживших узников концлагерей. Для Агамбена любое свидетельство – это взор, в котором «мусульманин», свидетель и сама «Горгона» превращаются в неразличимое тождество, ибо этот взор не способен ничего увидеть, а если что-то и видит, то вольно или невольно искажает факты и значение происходящего.

Что же касается утверждения Лиотара о том, будто единственное приемлемое доказательство существования газовой камеры – это умерщвленные, которые не могут давать показания, потому что причиной их смерти стала именно газовая камера, то это высказывание, смахивающее на софизм, игнорирует фундаментальный факт: существовали очевидцы массовых отравлений в газовых камерах, которые оставили нам свои письменные свидетельства, спрятав их в укромных уголках возле камер крематориев, а потом погибли в этих же самых камерах, откуда они извлекали, «обрабатывали», а затем сжигали миллионы обезображенных газом трупов. На этих свидетельствах членов «Зондеркоманд» остановимся подробнее в конце статьи.

Примо Леви был противником идеализации природы человека, которая, по его мнению, ведет к упрощению мотив поступков людей, к догматизации морали и служит причиной искажения смысла истории. Разумеется, без классификации и схематизма, имманентно присущих языку и абстрактному мышлению, невозможно обойтись в познании человеком мира. Но в истории, как и в сфере нравственных отношений, однозначная дихотомия: «мы» – «они», «друзья» – «враги», «добро» – «зло» ведет к манихейскому мышлению и деформирует реальность. Даже в спорте, констатирует итальянский писатель, обязательно должен быть победитель и побежденный, а ничья уже вызывает разочарование, потому что «наши» – это те, с кем мы идентифицируем себя, и именно поэтому они нам кажутся достойными победы.

Примо Леви считает, что клубок человеческих отношений внутри Лагеря был весьма не простым; его нельзя однозначно свести к двум антитетически противостоящим блокам: жертвам и палачам. Кто сегодня читает историю Лагерей, у того, по мнению Леви, почти всегда проскальзывает намерение и даже потребность отделить добро от зла, развести противоположности по разным углам и четко определить свою позицию, повторив жест Иисуса Христа на Страшном Суде: по эту сторону располагаются праведники, по ту – грешники. Все вновь прибывшие в Лагерь, за исключением уже умудренных опытом, надеялись на встречу с миром ужасным, но поддающимся пониманию согласно простой модели, который, как атавизм каждый из них хранил в глубинах собственного сознания: «мы» – внутри, а «враг» – вовне, отделенный от нас четкой географической границей [11, р. 498].

Однако вход в Лагерь всегда оказывался для новичка-заключенного полной неожиданностью; лагерь в действительности был не только намного более зловещим и ужасным, но и совершенно не поддавался никакой рациональной дешифровке и не укладывался в рамки даже самых тревожно-пессимистических представлений: враг был повсюду и даже обитал внутри. «Мы» утратили свои границы,

ибо оказалось, что противник существует не в единственном, а во множественном числе, а потому невозможно провести границу между своими и чужими: свои на глаза не показывались, а чужих, враждебно настроенных и агрессивных, было много, и они не очень стремились замаскировать свое желание поиздеваться над новичками. Когда заключенный вталкивался внутрь лагеря, то он надеялся на элементарную солидарность товарищей по несчастью, но они в подавляющем большинстве случаев, напротив, были готовы неожиданно ударить или оскорбить. И это происходило, вероятно, потому, полагает Примо Леви, что новичку завидовали, ибо из него еще не выветрился «запах домашнего очага», и он еще не вполне утратил облик свободного человека. Его высмеивали и подвергали жестоким издевательствам, как это почти повсюду происходит с рекрутами или во время церемоний инициаций у примитивных народов. Нет сомнения в том, что жизнь в Лагере представляла собой сплошную регрессию [11, р. 500].

Как это ни странно, подобный примитивизм создавал род порочной солидарности в среде «ветеранов» за счет унижения и издевательства над «новичками». Озлобленная толпа неудачников стремилась разрядить свои унижения, найти за счет презрения к вновь прибывшим своеобразную компенсацию за собственные муки и страдания, создав хотя бы на мгновение иллюзию утешения в том, что на свете существует кто-то еще более жалкий и униженный чем они, в силу первоначальной растерянности и полного непонимания абсурдности происходящего. Иногда за этим озлоблением скрывалось и опасение, что вновь прибывшие могут покуситься на их «привилегии», которые позволяли им рассчитывать на твердую прибавку к своему скудному пищевому рациону. Примо Леви повествует о том, как небольшое неповиновение одному из капо во время раздачи пищи, породило чувство «солидарности» среди его подручных: они прибежали на «выручку» своему «товарищу», схватили голову непокорного, опрокинули ее в котел с горячим супом и держали до тех пор, пока несчастный не умер от асфиксии.

Еще более ужасную историю, непосредственным свидетелем которой он был, рассказывает пятнадцатилетний Илие Визель. Немецкие железнодорожные рабочие, увидев «живые скелеты» в поезде, стоявшем на одном из полустанков по пути в Бухенвальд, начали бросать, возможно из милосердия, а скорее из любопытства, хлеб в вагоны, в которых десятки голодных узников сцепились друг с другом в смертельной схватке за каждую крошку. В вагон, в котором сидел Илие, внезапно упала краюха, которой удалось завладеть старому раби и незаметно спрятать ее под своей одеждой. С трудом выбравшись на четвереньках из сцепившейся толпы, он сел в угол, быстро извлек кусочек хлеба из-за пазухи и поднес ко рту. Его глаза сияли; подобие улыбки, похожей скорее на гримасу,

появилось на его помертвевшем лице, но тут же погасло. Внезапно промелькнула какая-то тень и набросившись на него стала месить его кулаками. Старик вопил: «Миер, мой маленький Миер. Ты не узнал меня? Я же твой отец... Ты погубишь меня... Ты убиваешь своего отца... У меня есть хлеб и для тебя... и для тебя». И упал, сжимая в кулаке кусочек хлеба. Хотел поднести его ко рту, но другой бросился на него и вырвал хлеб. Старик что-то прошептал, захрипел и умер среди всеобщего равнодушия. Его сын, обшарив одежду отца, нашел краюху и начал ее пожирать. Но этот пир продолжался недолго. Увидев хлеб, двое набросились на него. Вскоре к ним присоединились и другие. А когда все разошлись, то лежали уже два трупа – отца и сына [17, р. 99-100].

Этот «порядок» всеобщей вражды, это состояние «войны всех против всех» было не только естественным проявлением спонтанной патологии, обезумевших от голода людей, но и искусственно насаждалось и поощрялось руководством СС, которое стремилось максимально атомизировать отношения между узниками, натравливая их друг на друга, чтобы максимально унижить их, начисто вытравить последние остатки собственного достоинства. С этой целью практиковалось обривание голов, публичное раздевание, татуирование личных номеров на руке, заменявших имя узника, ношение рванной одежды и неудобной обуви в кровь обдиравшей ступни, принуждение к изнурительной, а иногда просто абсурдной работе, постоянный мордобой и медленное истощение тела рахитическим пайком. Делалось все возможное для скорейшего превращения человека в недочеловека.

В чем же заключался смысл всех этих унижений, мук и беспощадной жестокости, если все заключенные заранее были приговорены к уничтожению, спросила много лет спустя после окончания второй мировой войны английская журналистка Гитта Серени бывшего коменданта Треблинки Франца Штрангла, приговоренного к пожизненному заключению в тюрьме Дюссельдорфа. И он ответил: подобное бесчеловечное обращение являлось условием психологической подготовки тех, кто должен был выполнять приказы, чтобы они могли эффективно осуществлять то, что от них ожидали и требовали. Эта «операция», по разъяснению Штрангла, включала в себя два момента: сначала узника низводили до скотского состояния, а потом, наблюдая его «ничтожество», освободив свое сознание от всякого проявления жалости и сочувствия, палачи обращались с ним как с «вонючим животным», «грязным быдлом», которое, по их мнению, только этого и могло заслуживать. И хотя порой сознание узников о принадлежности их к человеческому виду пыталось возвести барьер на пути расчеловечения, эта преграда всегда оказывалась тонкой и весьма ненадежной. Сломаться мог каждый. На этом истреблении человечности потомков «старого Адама», нацисты

стремились выковать «нового человека», прообразом которого должен служить СС, «сверхчеловек», начисто лишенный совести, этой, по выражению Гитлера, химеры, изобретенной евреями. В своей назидательной речи, обращенной к новому формированию палачей, Гиммлер заявлял, что большинство из них должны знать, что означает 100, 500, или 1000 трупов. Преодоление всех тяжестей обстоятельств и одновременно желания оставаться людьми честными несмотря на отдельные исключения, вызванные естественной слабостью, делают их твердыми. Это – страница славы истории, донныне никем еще не написанная; возможно, она никогда не будет превзойдена и в будущем [5, р. 81]. Палач утрачивал свой человеческий облик, но в силу полной атрофии совести почти никогда не смел в этом признаться. Более того, он, как правило, гордился тем, что сумел отделить свой «долг» – добросовестно выполнять свою «работу» – от своих «человеческих, слишком человеческих» чувств и эмоций. В чем заключался смысл этого «долга», наглядно продемонстрировал процесс над Эйхманном, который просто не задумывался над смыслом собственной «работы», а если иногда такая потребность и возникала, то неизменно прибегал к «поддержке» демагогического дискурса своих политических наставников – «высших авторитетов» в вопросах жизни и смерти.

Мораль – это выражение человеческого в человеке. Она проявляется не только в способности нести людям добро, но и в иррефлексивном бунте против несправедливости, бунте, имеющим много общего с категорическим характером «приговора» наших суждений, базирующихся на восприятии фактов внешней действительности. Если, например, я вижу, что этот стол круглый, то меня трудно убедить признать его квадратным. Опасность, угрожающая моей жизни или благополучию, может заставить меня изменить свое суждение, но сила очевидности будет упрямо убеждать меня в истинности свидетельства, опирающегося на аподиктичность моего восприятия. Так «прямой разум» проявляется и в сфере нравственных оценок человеческих поступков. Например, сцены немотивированного насилия или жестокого унижения порождают в нас чувство спонтанного протеста или ненависти, столь же непреложных, как и непреложность восприятия круглости стола, за которым мы сидим. Протест против насилия или издевательства иногда превышает волю и опережает рефлексию сознания оскорбляемого человека, ибо никакие доводы, диктуемые инстинктом самосохранения, не способны заглушить в нем чувство негодования или ненависти.

И тем не менее существуют границы как для ненависти, так и для достоинства человека. Заключение, влачащий жалкое существование, впадал в состояние своеобразной эмоциональной летаргии. Боль, агония или смерть его товарищей были настолько обычным делом, что он утрачивал всякое сострадание к ним. Абсолютная

эмоциональная (и нравственная) индифферентность вела к тому, что «инстинкт выживания» вытеснял любой спонтанный протест, свойственный иррефлексивному моральному сознанию. Эта «аффективная атрофия» вызывала не только утрату сострадания к чужой боли, но и заглушала чувство ненависти к собственному палачу. Истощенный до последнего предела заключенный становился бесчувственным и к страданиям собственного тела, подтверждением чего является свидетельство Варлама Шаламова. «Я дал слово, что если меня ударят, то это и будет концом моей жизни. Я ударю начальника, и меня расстреляют. Увы, я был наивным мальчиком. Когда я ослабел, ослабела и моя воля, мой рассудок. Я легко уговорил себя перетерпеть и не нашел в себе силы душевной на ответный удар, на самоубийство, на протест» [3, с. 194]. Из этого свидетельства следует, что чувство ненависти к палачу, несомненно, является более высокой ступенью нравственного сознания, чем утешение в том, что несмотря ни на какие страдания в тебе еще продолжает теплиться жизнь.

В условиях расчеловечения человека сознание принадлежности к человеческому виду влекло за собой серьезные антропологические и нравственные издержки: понижало или на какое-то время отключало его достоинство и стыд. Когда Жан Амэри повествует о пытке, которой он был подвергнут в гестапо, то откровенно признается в том, что в тот момент он утратил всякое представление о собственном достоинстве и готов был выдать своих товарищей по сопротивлению, если бы действительно знал место их нахождения. Вообще, по его искреннему замечанию, чувство достоинства многолико и зависит от конкретной ситуации: если для одних невозможность ежедневно умываться – уже симптом утраты достоинства, то для других таким симптомом может служить бритые головы или татуирование. Современная философия, полагает Жан Амэри, приложила немало усилий для того, чтобы построить мораль на таком шатком фундаменте, каким является понятие «достоинства», принеся ему в жертву «доверие к миру». Жан Амэри, философ, выживший в Освенциме, не может точно утверждать, теряет ли человеческое достоинство тот, кому полицейский дает затрещину? Однако он уверен, что уже после первого удара нечто угасает в нем, а именно то, что мы могли бы условно обозначить как *доверие к миру*. Из доверия к миру вытекают разные послышки: иррациональная вера в железный принцип причинности или в равной мере слепое убеждение в правомерности индуктивных выводов. Но более важную предпосылку доверия составляет уверенность в том, что другие на основе писанных или неписанных общественных договоров не посягнут на суверенитет личности или, точнее, станут уважать физическое, а следовательно и метафизическое, бытие. Границы моего тела суть пределы моего я. Кожа предохраняет меня от внешнего мира: если я сохранил доверие, то я могу ощутить на своей коже только то, что я

хочу ощутить. Разумеется, пока существует минимальная надежда успешно защититься, активизируется механизм, с помощью которого я способен противостоять нарушению моей границы со стороны другого. Я прибегаю к законной самозащите и восстанавливаю способность к продолжению собственного существования. В этом случае общественный договор основывается уже на другом тексте и на другой статье – «око за око, зуб за зуб». Можно, конечно, организовать жизнь и на основе данной максимы. Но этого нельзя сделать, когда другой выбивает твой зуб или «ставит» тебе под глазом синяк, а ты – безоружный, ничего не можешь сделать врагу, в которого превратился твой ближний. Когда нет ни малейшей надежды на защиту, то физическое насилие со стороны другого превращается в законченную форму тотального уничтожения человеческого существования [6, р. 90-91].

В подобных условиях единственной возможной формой протеста против расчеловечения человека могло бы служить самоубийство. Но на пути к нему стояли два барьера: инстинкт самосохранения и отсутствие должной силы воли из-за крайней физической слабости. Иллюстрацией данного тезиса может служить рассказ Варлама Шаламова «Тишина». В нем русский писатель повествует о сектанте, своем напарнике по изнурительной физической работе в колымском Гулаге. Сектант часто говорил, что хотел бы умереть, и многократно молил об этом Бога, но тот, увы, «не мог» или «не хотел» приходить к нему на «помощь», тогда как самому напарнику недоставало надлежащей решимости для сведения счета с собственной невыносимой жизнью. Однажды на Колыму приехал человек из Москвы и решил провести «эксперимент»: хорошо накормить обесиленных заключенных, чтобы они смогли выполнить «производственный план». Но одной нормальной кормежки, разумеется, было недостаточно, чтобы восстановить физические силы «доходяг», истощенных от хронического недоедания. И тем не менее эта пища вдохнула решимость в давнее намерение сектанта умереть. Когда бригада ожидала разнарядку, он молча поднялся и, не говоря ни слова, перешел через запретную зону и начал углубляться в лес, в туман. Сначала раздался первый предупредительный выстрел охранника, а потом – другой... И холодея от ужаса, Шаламов понял, что «эта была та порция каши, которой недоставало моему напарнику, чтобы решиться умереть, – иногда человеку надо спешить, чтобы не потерять волю на смерть» [3, с. 191].

Заключение русского писателя дополняют и размышления Примо Леви, который ставит вопрос: почему же несмотря на нечеловеческие страдания только очень немногие узники лагерей массового уничтожения прибегали к этой радикальной мере? Во-первых, полагает итальянский писатель, самоубийство, как правило, это не инстинктивный акт, а сознательный поступок, предполагающий

размышление и возможность выбора, тогда как в лагере не существовало никакой альтернативы: узники жили подобно скоту на живодерне, обреченному на смерть и методично убиваемому. Во-вторых, существовали и другие более неотложные заботы, чем думы о сведении счетов с собственной жизнью. Непосильная работа, голод, холод, стремление избежать избиений почти не оставляли времени для мыслей о самоубийстве. В подтверждение этой идеи Примо Леви приводит фрагмент из книги Итало Звево «Сознание Зено», где герой романа размышляет о том, что, когда кто-то медленно умирает, то он вовсе не думает о собственной смерти, а озабочен другими вещами. Организм тратит все силы на то, чтобы обеспечить себя, например, дыханием или утолить нестерпимо терзающий голод. Иными словами, мысль о смерти вытесняется на периферию сознания, а на первый план выдвигаются тысячи мелких страданий и бессознательных ухищрений как-то их перетерпеть в надежде умереть по возможности легкой смертью. То же отмечает и Шаламов, вспоминая о самом тяжелом периоде своей колымской жизни: «Я думал обо всем покорно, тупо. Эта нравственная и духовная тупость имела одну хорошую сторону – я не боялся смерти и спокойно думал о ней. Больше, чем мысль о смерти, меня занимала мысль об обеде, о холоде, о тяжести работы – словом, мысль о жизни. Да и мысль ли это была?» [4, р. 39].

Нечеловеческие условия жизни Освенцима и Колымы показали, что обессиленного и измученного человека можно лишить всего: заставить его существовать на грани нечеловеческих страданий и одновременно отнять у него единственную возможную свободу – покончит жизнь самоубийством. Сострадательный взор свидетеля открывает за безразличием немоты мертвых законность их желаний жить и умереть собственной смертью, а не по предписанию идейных фанатиков «расовой или классовой чистоты». Поэтому размышление о судьбе безвинно казненных невольно заставляет вспомнить слова Райнера Марии Рильке о том, что каждый человек «ищет» не смерти вообще, а своей собственной смерти. Но в лагерях массового истребления все было в точности до наоборот: если тебя принуждают уйти по приказу власть предержащих, ты должен безоговорочно ему подчиниться, а если ты хочешь умереть добровольно, то это уже знак своеволия, заявка на протест, последний бастион личной свободы, а стало быть, решение умереть собственной смертью или покушение на самоубийство расценивалось как преступление. Поэтому палачи предпринимали все зависящие от них меры, направленные на предотвращение «несанкционированного суицида». Главными из них, как мы уже упомянули, было истощение силы воли узника путем голода и непосильной работы. Но когда кто-то добровольно покушался на собственную жизнь, его насильно спасали. Например, когда узник Зондеркоманды Филип Мюллер

тайно пробрался в газовую камеру, чтобы «легко и быстро» положить конец кошмару нестерпимой жизни, то бдительные охранники обнаружили его и, осыпая градом немилосердных ударов, насильно выволокли из помещения с криками: «Кусок дерьма, дьявол проклятый! Запомни: это не ты, а мы решаем следует тебе жить или умереть!» [16, р. 70]. Самоубийство, как вызов палачам, привыкшим считать себя «хозяевами» жизни и смерти заключенных, буквально выводило их из себя. Узнице Освенцима Мале Зинетбаум удалось совершить побег, однако она была схвачена, подвергнута пыткам, но не выдала своих товарищей. Как и всех пытавшихся сбежать, ее приговорили к публичному повешению. После призыва к сопротивлению и неотвратимости грядущего возмездия палачам, с которым Маля обратилась к заключенным, ей удалось перерезать вены на запястьях своих рук бритвой, спрятанной в рукаве. Сотрудник СС, ответственный за выполнение приказа о казни, был взбешен и кричал, задыхаясь от ярости: «Ты хочешь стать героиней! Ты хочешь покончить с собой! Но только мы, мы должны это делать! Это – *наша* работа!» [16, р. 71].

Свидетель как жертва в функции псевдопалача. В многострадальной истории человечества массовые убийства не составляют нечто из ряда вон выходящее: нередко они завершались гибелью отдельных народов или разрушением целых культур, что, на первый взгляд, аннулирует сингулярность Гулага и Холокоста. Но, с другой стороны, как подчеркивает английский социолог польского происхождения Зигмунт Бауман, нельзя игнорировать «избирательного сродства» между геноцидом Освенцима и Колымы и современной цивилизацией, сродства, которое не только не тормозило, а напротив, активно содействовало развязыванию массового уничтожения так называемых неполноценных рас или эксплуататорских классов. Согласно его суждению, разница между прошлыми и современными формами геноцида эквивалентна различию между скромной ремесленной мастерской и гигантской автоматизированной фабрикой.

Неистовый гнев и разбушевавшаяся фурия ксенофобии, преобладавшие в прошлом, согласно Бауману, это примитивный и малоэффективный инструмент массового уничтожения. Современные тоталитарные государства взрыхлили почву для бесстрастного, тщательно разработанного и систематически осуществляемого геноцида. Рациональное планирование и взвешенный расчет вытеснили разгул спонтанных страстей, развязывающий неуправляемую и хаотическую энергию толпы фанатиков. Жертвы Гитлера и Сталина не были уничтожены во имя завоевания или колонизации народов, чью территорию они оккупировали. Как правило, «враги народа» или «расово-неполноценные ублюдки» были истреблены механически-монотонным способом, без излишних эмоций и даже без чувства ненависти. Они были ликвидированы только потому, что в силу раз-

личных идеологических оснований не вписывались в схему совершенного общества. Их смерть – это не деструктивная, а конструктивная работа. Они были уничтожены ради установления более эффективного, лучшего, морального и прекрасного мира, во имя коммунистического или арийского общества расовой чистоты [7, p. 121].

Более того, массовая ликвидация «недочеловеков» осуществлялась в Германии руками самого «отродья» человечества, членами так называемых «специальных команд», которые формировались в основном из евреев, с целью убыстрения процесса уничтожения, ибо знание языков, помогало переводить передаваемые приказы СС узникам, направляемым в газовые камеры, а кроме того не преминуть еще раз уязвить «неполноценную расу», абсурдностью зловещей иронии: еврей убивает еврея. Операция по ликвидации заключенных газом «циклон В» была в начале апробирована на русских военнопленных в 11 блоке главного лагеря, а после сооружения весной 1943 г. крематориев и газовых камер в Биркенау, примыкающему к Освенциму с севера, развернулась самая крупномасштабная операция по уничтожению узников, достигшая своей кульминации весной и летом 1944 г., когда после прихода каждого очередного эшелона, проводилась быстрая селекция и примерно восемьдесят процентов прибывших, в основном женщин, детей и стариков, немедленно направлялись в камеры смерти. В этот период число членов Зондеркоманд превышало девятьсот человек, и они «трудились» в две смены, обеспечивая непрерывный конвейерный процесс ликвидации.

Вербовка узников, предназначенных в «специальные команды», происходила при участии опытных психологов, которые спрашивали заранее намеченных кандидатов: не интересуют ли их оказание специальных услуг фабрике, непосредственно подчиненной центральной администрации лагеря, намекая при этом на возможность более гуманного обращения, на неограниченный пищевой паек и даже на относительно свободный доступ к спиртным напиткам. Отобранные таким вкрадчивым методом узники вскоре выясняли, в чем состоят эти специальные «услуги», но отступить им было уже некуда: отказ грозил немедленной ликвидацией за доступ к информации о самой секретной «работе» лагеря. Некоторые, завербованные таким обманным путем, возможно и привыкали к этой «работе», меньшинство покончило жизнь самоубийством, а большинство жило в постоянной печали, вынужденное почти ежедневно присутствовать при массовых отравлениях своих соотечественников в огромных герметических камерах, а потом сжигать их трупы в крематории и оказывать другую «посильную помощь», навязанную палачами. Они выгружали узников из эшелонов, погружали их в грузовики, доставляли в бункер, сопровождали в зал для раздевания, якобы для принятия душа в целях дезинфекции, плотно закрывали

дверь душегубок, разъединяли переплетенные трупы, укладывали их штабелями на транспортер для подъема и загрузки в печи крематориев, сортировали обувь, одежду, остригали женские волосы, снимали драгоценные украшения, вырывали золотые зубы, очищали от крови и слизи пол и стены камер после очередного сеанса умерщвления газом, который чудовищно уродовал и деформировал человеческие тела. Разумеется, любое неповиновение немедленно каралось смертью.

Многие члены Зондеркоманд ясно отдавали себе отчет в том, что их связь с человечеством навсегда утрачена и считали, что единственным выходом для моральной реабилитации и самоуважения могло быть только восстание и смерть с оружием в руках. Но подпольное руководство Освенцима каждый раз переносило дату операции, тогда как члены Зондеркоманд прекрасно понимали, что лично для них промедление смерти подобно, ибо каждые четыре месяца их уничтожали полным составом и всякий раз это делалось совершенно неожиданно, чтобы избежать лишнего шума и в корне пресечь все возможные попытки здоровых и физически сильных узников как можно дороже продать свою жизнь. Наконец, окончательно утратив всякое терпение, 7 октября 1944 г. Зондеркоманда (в рядах которого находился Залмен Градовский, автор самого подробного литературного свидетельства), взбунтовалась почти без оружия и без четко разработанного плана. Реакция СС, потерявшая только трех человек убитыми и несколько ранеными, была молниеносной: в считанные часы все четыреста восставших были схвачены и уничтожены. В конце ноября этого же года были ликвидированы и остальные члены «специальных подразделений». А когда в середине января заключенные, способные держаться на ногах, получили приказ об эвакуации в Рейх, десяток уцелевших «черных воронов», как называли узников Зондеркоманд, незаметно смешались на марше с тысячами других депортируемых заключенных. В двадцатых числах января эсэсовцы взорвали все крематории и газовые камеры, превратив их в горы щебня и осколков, которые тут же покрылись толстым слоем снег. Именно эти руины и застали вошедшие в Лагерь советские войска.

С 1945 г. по 1980 г. были найдены 8 рукописных свитков, написанных членами Зондеркоманд, из которых три на французском языке, один на греческом и четыре на идиш. Среди последних фигурируют две самые большие рукописи (спрятанные Залменом Градовским во фляжках), которые были найдены в 1945 г. и после долгих перипетий по их восстановлению и обработке были сведены в одну книгу и опубликованы бывшим узником Освенцима Хаимом Воллнерманом в 1977 г. в Израиле. Поскольку эта книга давно уже превратилась в библиографическую редкость, в 2001 г., после тщательного сравнения с рукописью оригинала и текстовой обработки

она была переведена с идиш на итальянский, а впоследствии и на некоторые другие европейские языки.

Книга Залмена Градовского и другие свидетельства, оставленные узниками Зондеркоманд, проливают новый свет и существенно меняют наши прежние представления как о них самих, так и о жертвах, находившихся в Лагере в течение считанных часов, начиная с момента их выгрузки из вагонов только что прибывшего эшелона, и кончая закрытием дверей газовых камер для страшной агонии и быстрой смерти. Ранее большинство узников-свидетелей, включая и Примо Леви, считали членов Зондеркоманд зловещими привидениями, обитавшими в зоне секретных блоков, не имевшими доступа к другим заключенным и строго охраняемыми СС. Их жуткий вид грязных, растрепанных и безумно диких отпетых преступников, распространявших трупное зловоние, смешанное с запахом спиртного и, по слухам, обогранных кровью мирных жертв еще до своего прибытия в Освенцим, вызывал невольное отвращение, которое усиливалось тем, что они как роботы были нечувствительны к страданиям и смерти своих соотечественников, ликвидируемых по приказу свыше. Если Примо Леви возводил «мусульман-доходяг» в ранг святых великомучеников, а членов Зондеркоманд сурово осуждал за их «работу» по сжиганию трупов, то Джорджио Агамбен идет еще дальше: он приравнивает жертв, хотя и выполнявших самую грязную «работу», к самим палачам, полагая, что в сущности они – сообщники.

Филипп Меснар и Карло Салетти в своем предисловии к книге Градовского (у которого, кстати, в день прибытия эшелона в Освенцим были сожжены жена, мать, две сестры, тесть и зять, а его, ничего не ведающего об их судьбе, зачислили во время селекции в «специальную команду», не раскрывая содержания будущей «работы») не отрицают неизбежности ожесточения любого, даже самого твердого и уравновешенного человека, поставленного в подобные нечеловеческие условия. Тем не менее вызывают серьезные сомнения поверхностные выводы многих других свидетелей, приравнивавших членов Зондеркоманды к «роботам смерти», нечувствительных к страданиям своих ближних и как будто высеченных из монолита. Почти все они жили в отчаянии, извлекая волю к выживанию из глубин своих нравственных мук. И разумеется, возможность оставить свидетельство о своих судьбах стало для многих из них синонимом сопротивления. Другое дело, что их внутренний мир был настолько опустошен, что многие из них не могли дистанцироваться, с одной стороны, от сознания своей причастности к смерти невинных людей, а с другой, от глубокого сострадания к убиваемым жертвам (в основном к женщинам и детям), которых они должны были безмолвно сопровождать в последний путь. И это переживание сострадания, каким бы парадоксальным оно не казалось, пре-

пятствовало выражению мысли, для которой требовалось пусть и минимальное, но все же дистанцирование от аффекта, а также и владение определенными литературными навыками, которыми, увы, располагали только очень немногие члены Зондеркоманд, так как большинство из них были людьми малограмотными. Поэтому, как правильно подчеркивают Меснар и Салетти, об аффективном и ментальном состоянии данной категории заключенных нельзя судить на основании выполняемых ими «операций». Общность судьбы, невозможность общения с другими узниками, неминуемая обреченность на смерть и потребность свидетельства о нечеловеческих злодеяниях, коллективными очевидцами которых они были, порождали чувство братства, которое проявлялась, в частности, и в заботе о создании необходимых условий, например для творчества Градовского, которому выделили койку у окна, куда проникал свет, снабжали его бумагой, пишущими средствами, найденными среди вещей сожженных, и информацией о планах гитлеровцев по ликвидации следов преступлений накануне восстания Зондеркоманды.

Настроение Градовского накануне восстания хорошо передает написанное им письмо после завершения работы над второй рукописью. Он писал о том, что члены Зондеркоманды давно уже хотели положить конец своей зловещей работе, которую их обязывали выполнять под угрозой смерти. Им хотелось сделать нечто *значительное*. Но персонал лагерного подполья, с одной стороны евреи, а с другой русские и поляки, удерживали их всеми силами, вынуждая откладывать дату восстания. Но этот ДЕНЬ приближался. В момент максимальной опасности и нервного возбуждения Градовский писал письмо-послание о том, что пусть будущее вынесет им свой приговор, основываясь на его записках; пусть люди увидят в них минимальное отражение того трагического мира, в котором им суждено было жить [9, p. 169].

Тот факт, что члены Зондеркоманды стремились оставить для потомства свои свидетельства, которые они зарывали неподалеку от крематориев, вводит в само понятие «свидетельства» новое измерение. Эти рукописи рассказывают нам не только о кошмарах массовых убийств или о внешних условиях существования свидетелей, но и об их субъективном мире, который заставлял их думать о грядущем, цепляться за человека будущего. Сам факт существования этих текстов говорит о том, что свидетельство, как неотъемлемый элемент культуры, неотчуждаем от бытия человечества и выходит за пределы жизни их индивидуальных представителей. Существуют авторы, чья жизнь и творчество составляют одно неразрывное целое. Градовский же, напротив, стал писателем по неволе: из страстного желания рассказать людям правду, не будучи даже уверенным, что она дойдет до них после его смерти. Поэтому можно утверждать, что не жизнь, а смерть стала стимулом его воли к свидетель-

ству, равно как и других членов Зондеркоманд, рукописи которых по чистой случайности дошли до нас.

Может показаться странным, но в тексте Градовского заключен немалый лирический потенциал: он пишет под диктовку собственного сердца, как если бы оно было также и сердцем тех жертв, которых он сопровождал в самый последний путь. Как указывают Меснар и Салетти, «он вбирает в себя каждый фрагмент жизни, улавливает малейшую вибрацию тел, которые попадают в окрестности его взора. Отсюда – настойчивость, не лишенная очарования, в акцентировании жизненной мощи окружавших его женщин, которые для него воплощали то, что может дать, получить или взять тело, и все то, что оно могло бы предложить или сделать, если бы ему было предоставлено право на существование. Здесь свидетель опирается на семантику духовного поля, связанную с жизнью, противостоящей семантике страдания, которая ассоциируется с темой окаменения и застывших слез. Члены Зондеркоманды как раз и были вписаны в этот короткий отрезок времени, отделяющего полноту жизни жертв от их гибели» [13, р. XLI].

Ценность свидетельства Градовского состоит не только в описании поведения, но и в чутком внимании к чувствам и мыслям насильственно умерщвляемых жертв, которые после прибытия эшелона, уставшие от тяжелого путешествия в телячьих вагонах, без туалетов, отупевшие и напуганные толпой вооруженных до зубов немецких солдат с овчарками и нацеленными на них автоматами, на какое то время застывали, как бы ошалев или, вернее, окаменев от злобной сцены, не силах постичь смысла происходящего. Затем после молниеносной селекции женщин и детей погружали в грузовики и увозили в бункер. Здесь хотелось бы предоставить слово самому Залмену Градовскому, привести серию цитат из последней части его потрясающего свидетельства, изложенного в книге «В Сердце ада» которая, возможно, пока еще не переведена на русский язык. Хотелось бы раскрыть своеобразие стилистики его повествования, показать его внутренний мир, отношение к палачам и особенно к жертвам, которых он вместе со своими товарищами по Зондеркоманде должен был сопровождать в газовую камеру. Хотелось бы показать его неподдельное восхищение мужеством духа своих соотечественниц из Чехии за открытое презрение к палачам, обрекающим их, беззащитных и невинных, на преждевременную смерть, и его неподдельную тоску в предвосхищении неминуемости их гибели в полном расцвете молодости и жизненных сил. Фрагменты перевода, выделенные курсивом, взяты мной из испанского текста книги, изданной в Барселоне в 2008 г. [9, р. 138-155].

Мы ведем своих дорогих и нежных сестер, поддерживая их под руки, ведем молча шаг за шагом, и наши сердца бьются ритмично и в унисон. Страдаем и обливаемся кровью, ибо, как и они,

мы чувствуем, что каждый шаг, это еще один шаг, который отдаляет их от жизни и приближает к смерти. И прежде чем спуститься в глубину бункера, раньше чем поставить ногу на плиту могилы, они смотрят в последний раз на небо и на луну и глубокий вздох инстинктивно зарождается и в наших сердцах. При лунном свете виден блеск слез нашей сестры, ведомой на смерть, и одинокая слеза застывает в глазу сопровождающего его брата... В просторном зале для раздевания находятся шкафы для хранения одежды, и надписи на разных языках гласят, что во время душа будет произведена дезинфекция одежды. Женщины молча обмениваются взглядами с сопровождающими их мужчинами и понимают, что это не душевая, а камера смерти... Нам не хватает ни смелости, ни решимости предложить этим дорогим женщинам раздеться. Потому что их одежда, даже теперь, – это кора, щит, который оберегает их жизнь. В тот момент, когда они сбросят с себя одежду и останутся в том, в чем их мать родила, они утратят последний рубеж защиты, последнюю опору на которой теперь зиждется их жизнь. И поэтому нам не достает смелости сказать им: снимите одежду как можно скорее. Пусть они побудут еще момент, еще мгновение внутри своей коры, в которую они укутывают свою жизнь. Первый вопрос, который появляется на их губах: приехали ли их родные? Они хотят знать: живы ли их мужья, отцы, братья, возлюбленные или же их тела где-то лежат недвижимыми или уже сожжены и от них не осталось и следа... Но, тогда: для чего нужна тогда жизнь и зачем за нее цепляться? «Скажи, брат», говорит одна из них, совершенно опустошенная, чье сознание давно уже свыклось с мыслью навсегда покинуть этот мир. Она смело идет к нам навстречу и твердо говорит: «Скажите нам, братья, сколько времени длится умирание? Эта смерть мучительная или легкая?» Но ей нельзя задерживаться в этом месте. Воздух разрывается от криков пьяных бандитов, нетерпящих насытить свою жажду зрелищем моих обнаженных прекрасных сестер. Удары дубинок сыпятся на головы, плечи и другие части тела тех, кто замешкался, и последняя одежда моментально падает на пол... Теперь, совершенно голые, они выстраиваются в ряды, одни рыдают, другие стоят молча, словно окаменев. Здесь находится и голая мать, сидящая на скамейке с ребенком, прижатым к ее лону. Нежное создание, девочка, которой не исполнилось еще и пятнадцати лет. Она прижимается своей головкой к материнской груди и покрывает поцелуями все ее тело. И поток жгучих материнских слез заливают ее юную кровь. Мать оплакивает свою дочь, которую своими собственными руками скоро поведет на смерть... Мы, одетые мужчины, стоим напротив и смотрим на них окаменевшим взором. Мы не в состоянии различить: реальна ли сцена, которую мы созерцаем, или это – только лишь сон... Мы уже видим, мы уже

предчувствуем их неизбежный конец. Я наблюдаю эти трепетные жизни, которые даже здесь занимают большое пространство, жизни, которые сейчас представляют собой целые миры и через несколько минут перед моим взором откроется другой образ – моего товарища, везущего тачку к большой яме. Сейчас я нахожусь в окружении группы из десяти-пятнадцати женщин, и скоро их тела и их жизни превратятся в пепел, которым нагрузят тачку. От тех, кто находится здесь, не останется и следа; все они, населявшие целые города и занимавшие место в мире, вскоре будут выметены из него, вырваны с корнем, как если бы никогда, никогда и не существовали на этом свете. Наши сердца разрываются от боли. Мы чувствуем их боль как собственную, наша плоть страдает от тоски в нескольких шагах, отделяющих их жизнь от их смерти... Дверь резко открывается. Ад широко распаивается, чтобы принять в объятия свои жертвы. На небольшом квадрате, ведущим к могиле, как на военном параде, выстроились представители главного командования. Вся политическая секция сегодня пришла на праздник, в том числе и офицеры высших рангов, чьи лица мы ни разу не видели в течение шестнадцати месяцев своего пребывания здесь. Среди них находится и женщина, СС, начальница женского Лагеря. Она тоже пришла, чтобы посмотреть на «национальный» праздник умерщвления нашего народа... Марш, марш смерти начался... Шагают женщины с маленькими детьми, которых они несут на своих руках, а других ведут за руку. Сейчас они целуют своих детей, материнское сердце любвеобильно, и она будет целовать своего дитя в течение всего пути. Шагают, обнявшись, словно переплетенные в клубок, сестры; они хотят умереть вместе. Все смотрят с презрением на выстроившихся в ряд офицеров. Никто не хочет удостоить их своим взглядом. Никто ни о чем их не просит, никто не взывает к их состраданию. Жертвы чувствуют, они знают, что в их сердцах нет ни капли сочувствия. И они не хотят давать им удовлетворение своим попрошайничеством; просить в отчаянии о даровании кому-либо жизни. Вдруг парад голых женщин останавливается. В их рядах можно видеть девочку девяти лет, красивую и светловолосую с заплетенными косичками, которые как золотые ленты обвивают ее детскую спинку. За ней идет ее мать, ступает твердо, останавливается, смотрит прямо в лица офицерам и говорит дерзко и отважно: «Убийцы, бандиты, бессовестные преступники! Да, сейчас вы убиваете женщин и невинных детей. Перекладываете свою вину за войну на нас, слабых и беззащитных. Разве я и моя дочь ответственны за развязанную вами войну? Но берегитесь, бандиты! Вы хотите скрыть за нашей кровью свое поражение на фронте. Но эту войну вы уже проиграли, вам будет вынесен приговор. Вам хорошо известно о тяжелых поражениях, которые вы ежедневно несете на восточном фронте.

Помните, бандиты! Сейчас вы можете безнаказанно творить все, что вам угодно, но наступит день возмездия. Великая победоносная Россия отомстит за нас. Разрежут ваши тела, пока вы будете еще живыми. Наши братья во всем мире не успокоятся, пока не отомстят за нашу невинно пролитую кровь... Палачи замолкли и словно окаменели. У них не хватало смелости, чтобы посмотреть друг на друга. Они услышали великую правду, которая ранит, сверлит и разрывает их звериные души. Они позволили ей говорить, хотя заранее знали, что она им скажет, но все-таки хотели услышать слова еврейской женщины на пути к смерти... В огромном бункере тысячи жертв ожидают смерти. И вдруг неожиданно, непроизвольно вспыхивает песня. Еще раз окаменевают лица офицерской банды. Они не могут понять; их мозги просто не способны постичь: как возможно, здесь в бункере, в сердце могилы, на краю смерти, в последнюю минуту жизни вместо того, чтобы оплакивать свою молодую жизнь, которая скоро оборвется, заставляя их слушать свои поющие голоса. Может быть и впрямь прав Фюрер: все они – демоны. Как можно, чтобы с таким спокойствием, с такой отвагой и безмятежностью люди шли навстречу своей смерти. Слова и мелодия, возникшие из гуаи зажатых тел, всем хорошо известны. Эта песня как нож, как пика пронзает сердца преступников. Популярная мелодия, которую поет эта мертвая масса, известна всем: это «Интернационал». Поют гимн великого русского народа, «Интернационал», прославляя его могучее и победоносное войско. Песня рассказывает, напоминает палачам наступления и победы, которые одержали не они, а Красная Армия. Мелодия заставляет их переживать тревогу вопреки собственной воле... Теперь офицерская банда, представители высшей власти чувствует, подозревает насколько они мелко-травчаты, малозначимы и ничтожны. Им кажется, что вибрирующие ноты – это люди, которые представляют собой два войска, столкнувшихся в смертельной схватке: одно победоносное, полное гордости и отваги, и другое, которое они представляют здесь, окаменевшее и дрожащее от страха и ужаса... Внизу в огромном бункере возникают новые мелодии, которые подавляют беспокойство, заглушают страх смертниц, страх, который хотел бы покорить их сердца и их дух. Теперь звучит песня про партизан... Последняя женщина втиснулась в бункер, ибо уже не было больше мест и повернули замок, и наглухо задраили дверь, чтобы и капля воздуха не смогла туда проникнуть. Жертвы оказались стиснутыми, словно в бочке, изнемогая от жары и жажды. Они чувствуют, они знают, что не пройдет много времени, одна минута или секунда и наступит конец. Но все равно они снова начинают петь. Они хотят теперь все забыть, погрузиться, отдаться на волю волн звуков и поверх этих звуков и через высокие гармонические ноты пересечь, идя по короткой тропе, рубеж, который отделяет жизнь от смерти.

Илие Визель как-то заметил, что мы открыли абсолютное зло, но не абсолютное добро. Что сделать, чтобы сказать людям, что человеку была дана несмотря ни на что жажда абсолюта добра, а не только зла [15, р. 119]. Подросток Илие прошел через все муки ада лагерей смерти, и будучи человеком глубоко религиозным, неоднократно выражал свои сомнения по поводу способности Бога обуздать кровавые злодеяния человека, которого, между прочим, он сотворил по своему образу и подобию. Жажда абсолюта, о которой говорит Визель, если она ограничена пределами религиозной веры или мечтой о недостижимых земных идеалах и не противостоит желанию постепенного воплощения насущных и конкретных чаяний человека здесь и теперь, вполне законна и никакой даже самый закоренелый скептицизм не способен раз и навсегда похоронить эти надежды. Но когда эти мечты превращаются в одержимость искоренить во что бы то ни стало всякое человеческое несовершенство и построить абсолютно совершенное общество, то «спасатели человечества» в попытке насильственно навязать эти идеи добра парадоксальным образом превращались в носителей зла, которое они с такой неистовой страстностью мечтали искоренить. Эту диалектику превращения идеи абсолютного добра во зло прекрасно выразил русский религиозный мыслитель Семен Людвигович Франк, сам лично претерпевший немало бед как от коммунистического, так и от нацистского режимов. В своей статье «Ересь утопизма» он писал: «Утопические движения всегда начинаются людьми самоотверженными, горящими любовью к людям, готовыми отдать свою жизнь за благо ближних; такие люди не только кажутся святыми, но в известной мере действительно причастны, хотя и в какой-то искаженной форме, святости. Постепенно, однако, и именно по мере приближения к практическому осуществлению своей заветной цели, они либо сами превращаются в людей, одержимых дьявольской силой зла, либо уступают свое место злодеям и развращенным властолюбцам, имеют их своими естественными приемниками. Таков парадоксальный роковой ход всех революций, руководимых утопическим замыслом утвердить абсолютно совершенный порядок жизни» [2, с. 380-381].

Свидетельства заключенных концентрационных лагерей тоталитарных режимов – это прежде всего зов, заклинания о поправленной справедливости жертв, лишенных без всякой вины права прожить до конца свою единственную и неповторимую жизнь. Что нужно сделать, чтобы избежать варварства и ужасов Освенцима и Колымы? Первое условие, на мой взгляд, заключается в том, чтобы перестать конструировать утопии. Утопический догматизм ни в чем так не нуждается, как в идее о том, что само время работает на осуществление веры в торжество совершенного человека, но работает медленно, и поэтому его надо непрерывно подстегивать, ликвидируя неполноценные расы и эксплуататорские классы.

Эту же самую идею развивает и Карл Поппер, с точки зрения которого тоталитарный радикализм представляет собой выражение «эстетизма», как романтической мечты об идеальной красоте и моральном совершенстве, отмеченном желанием построить мир человека, который был бы не только лучше и разумнее существующего, но и лишен какого бы то ни было несовершенства. Иначе говоря, тоталитарный радикализм, как правило, предстает в форме «совершенства», и предполагает счастливое будущее, ради осуществления которого оправдываются жертвы в настоящем. В отличие от «метафизики совершенства», задача политики, по мнению Поппера, состоит не в том, чтобы осчастливить людей будущего, (претворение в жизнь своего счастья надо оставить каждому конкретному человеку), а в искоренении условий, которые делают людей несчастными. Мы не знаем точно и во всей полноте, что такое счастье, зато мы имеем весьма надежные представления о том, что такое несчастье. Работайте ради искоренения конкретного зла, а не во имя осуществления абстрактного добра. Не позволяйте себе, чтобы мечты о чудесном мире, отвлекали вас от насущных чаяний человека, претерпевающего страдание здесь и сейчас. Наши современники имеют право на нашу помощь; ни одно поколение не должно приноситься в жертву будущих поколений, ради идеала несбыточного счастья [14, р. 431-432].

Именно воодушевляющие утопические идеи о создании чистой арийской расы и светлого коммунистического будущего создают образ врага, уничтожение которого открывает дорогу к расчистке завалов для осуществления идеи будущего сверхчеловека или совершенного общества счастья и справедливости. Этого врага стараются представить в виде сгустка метафизического зла: коварным, злобным и вонючим недочеловеком, запродавшим еще в материнском чреве свою душу дьяволу. И наконец, его заталкивают в Освенцим или посылают на Колыму. И чтобы не допустить элементарного сочувствия к его боли и страданиям объявляют его «подлым врагом народа» или «ядовитым насекомым», которого следует умертвить от голода, холода и непосильной работы или отравить в газовой камере, превратив в лагерную пыль.

Почти во всех свидетельствах очевидцев ужасов Освенцима и Колымы всегда задается один и тот же сакраментальный вопрос: извлекут ли люди надлежащие уроки из пережитого ими и ледящего душу их читателя кошмара? Если сказать честно, то я не очень уверен в положительном ответе на этот вопрос. Но я уверен в том, что чтение этих свидетельств всколыхнет душу каждого совестливого человека, озабоченного, пусть и в минимальной степени, будущим своих детей или внуков, ибо нет абсолютной гарантии в том, что причиненное зло, пусть и под другой исторической личиной, никогда не повторится.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Мелихов Александр. Обыкновенный Холокост // Иностранная литература, 2010. №. 5. 5 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/inostran/2010/5/me13-pr.html> (проверено 18.07.2011 г.).
2. Франк С.Л. Ересь утопизма // Квинтэссенция. Философский альманах. М.: Политиздат, 1991. 399 с.
3. Шаламов В.Т. Колымские рассказы. М.: Современник, 1991. 576 с.
4. Шаламов В.Т. Из воспоминаний // Шаламовский сборник. Вып. 1. Вологда: ПФ «Полиграфист», 1994. 248 с.
5. Agamben Giorgio. Lo que queda de Auschwitz. El archivo y testigo. Valencia: Pre-textos, 2002. 191 p.
6. Améry Jean. Más allá de la culpa y la expiación. Tentativas de superación de una víctima de la violencia. Valencia: Pre-textos, 2001. 193 с.
7. Bauman Zygmunt. Modernidad y Holocausto. Madrid: Sequitur, 1998. 309 p.
8. Bruckner Pascal. La tiranía de la penitencia. Ensayo sobre el masoquismo occidental. Madrid: Ariel, 2008. 213 с.
9. Gradowski Zalmen. En el corazón del infierno. Documento escrito por un Sonderkommando de Auschwitz – 1944. Barcelona: Anthropos, 2008. 226 p.
10. Herling Gustaw. Un mundo aparte. Madrid: Turpial; Amaranto, 2000. 369 p.
11. Levi Primo. Los hundidos y los salvados. // Trilogía de Auschwitz. México: Oceano, 2005. 652 p.
12. Lyotard J.-F. La diferencia. Barcelona: Gedisa, 1988. 287 p.
13. Mesnard Philippe, Saletti Carlo. Entre historia y literatura. Escribir la catástrofe // Gradowski, Zalmen. En el corazón del infierno. Barcelona: Anthropos, 2008. XLIII p.
14. Popper Karl. Conjeturas y refutaciones. Barcelona: Paidós, 1963. 637 p.
15. Reyes Mate. Memoria de Auschwitz. Actualidad moral y política. Madrid: Trotta, 2003. 269 p.
16. Todorov Tzvetan. Frente al límite. México: Siglo Veintiuno, 1993. 311 p.
17. Wiesel Elie. La Noche, El Alba, El Día. Barcelona: Muchnik, 1975. 280 p.

RESUME

Mikhail Alexeyevich Malyshev, Profesor-investigador of the Autonomous University of Mexico state, member of editorial boards of the scientific journals: “Ciencia ergo sum”, “La Colmena”, “Coatepec”, Toluca, Mexico mijailmalychev@yahoo.com.mx

The witness as an accuser of the barbarity

The concentration camp represents the extreme form of totalitarian state's total domination over a man. The aim of the article is to show dehumanization of a human being based on the Holocaust victims' testimonies complemented by the stories of Gulag prisoners. The author primarily takes into consideration the memoirs of those witnesses that try to avoid unnecessary illusions, which conceal the truth and lead to the idealization of a human being. Relying on the testimony of Zalmen Gradovsky, the author tries to overcome shallow judgments about the members of *Zondercommands* that told us the harsh truth about the courageous behavior of the innocent victims sentenced to death in the gas chambers.

Witness, genocide, dehumanization of a human being, Oswiecim, “The Grey Zone”, Zondercommand.

Материал поступил в редколлегию 18.07.2011 г.